СТАТЬЯ. МИШЕЛЬ ДЕ М'ЮЗАН "КОНТРТРАНСФЕР И ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИСТЕМА "

Поверьте мне… я остаюсь последовательным в своих инстинктах

Джек Лондон. Морской волк

Когда речь заходит о контрпереносе, как правило, начинают рассмотрение данной темы с различных значений этой концепции. Подразумевают либо узкое определение, которое относится только к бессознательным реакциям анализируемого на перенос (часто с уничижительным оттенком), либо берется широкое определение, охватывающее все то (со стороны аналитика), что вмешивается в лечение и может даже играть в нем роль инструмента. Мишель Неро, как известно, пошел дальше и расширил пределы этого определения, утверждая, что контрперенос, включая в себя психоаналитическое мышление и имплицитный запрос аналитика, даже предшествует переносу[1].
Скорее, это зависит от обстоятельств, и все же нужно быть осторожным, следуя первому определению, а второе лучше подходит для умозрительной работы. Более широкое понимание контрпереноса подходит скорее тому, что я хочу здесь показать; я думаю, мы это увидим по мере моего изложения.

С давних пор меня удивляет один феномен, с которым каждый практикующий врач сталкивается в своей деятельности и который имеет место в уме аналитика в процессе его работы. В то время как аналитик слушает своего пациента с характерным для данных обстоятельств вниманием, он отмечает в себе психическую деятельность, отличающуюся от всех других, являющихся обычными в этой ситуации, включая аффекты. Внезапно возникают странные представления, фразы, неожиданные в грамматическом отношении, абстрактные формулы, красочные образы, более или менее оформленные фантазмы, — список не ограничен, по, что очень важно, так это отсутствие ясной связи с тем, что происходит в данный момент на сеансе. Можно было бы сказать, что аналитик убежал из ситуации, и это соответствовало бы контрпереносному проявлению в самом узком смысле слова. Это также может быть и тем, что имеют в виду, когда фантазм эксплицитно касается пациента и, кроме того, имеет более или менее регрессивное значение. Это и есть, по-видимому, перенос аналитика на пациента, ставшего для него представителем фигуры из прошлого. Можно также отметить в данном случае высокую степень пригодности ситуации для мобилизации «полиморфной перверсности», которая целиком убаюкивает аналитика, со всеми вытекающими отсюда последствиями для психического функционирования последнего. Однако моя задача заключается вовсе не в том, чтобы останавливаться на этих рассуждениях, достаточно изученных другими авторами. Я думаю, что, удерживаясь в рамках классического контрпереноса, мы не в состоянии уловить все аспекты психической деятельности, местом которой в данном случае является аналитик, как раз потому, что некоторые из них кажутся ускользающими и от личной проблематики, и от теоретических доктрин.

Представления, о которых идет речь, возникают неожиданно, в какой угодно момент сеанса, а иногда с самого начала сеанса. Примечательно то, что они не вызывают ни страха, ни неудовольствия, каким бы ни было их содержание. Это особенно удивляет аналитика, тем более что он должен, разумеется, задаваться вопросом о проявлении некоего бессознательного конфликта, аффекты которого, по-видимому, были заторможены в их развитии. Он испытывает в этом случае неуловимое изменение состояния, что-то вроде очень легкого волнообразного движения, которое парадоксальным образом не сопровождается снижением внимания. Родство этого опыта с некоторыми слабыми состояниями деперсонализации — очевидно. Но здесь изменения проистекают непосредственно из речи или отношения анализируемого, взволнованного и требующего, который, вероятно, и вызвал в аналитике модификацию нарциссической инвестиции. Когда аналитик возвращается к тому, что он пережил в подобный момент, он констатирует постфактум две вещи, связанные между собой: состояние тревоги, направленное на объект, и искажение чувства собственной идентичности. Все происходит так, как если бы было изъято то, что есть личного в нем, и была установлена специальная проницаемость его психического аппарата — как бы открытость для новой фантазматической активности. Но, если это так, откуда тогда появляются эти мысли, образы, слова, которые толкают аналитика к мимолетному отчуждению. Мы вправе предположить, что они соответствуют психическим процессам, *развертывающимся у анализируемого* и еще не выявленным. Это бы объяснило замечательную черту феномена в целом, а именно тот факт, что он опережает как-то понимание материала, которое вытекает из логической дедукции, так и фантазмы, которые пациент в состоянии формулировать.

Мы помним, что Паула Хайманн представила в 1949 году на XVI Международном психоаналитическом конгрессе свою работу[1], где она ясно показывает значение контрпереноса как инструмента понимания пациента[2].

По ее мнению, аналитик заимствует из бессознательного своего пациента более острое бессознательное восприятие, которое опережает то, что может позволить какая бы то ни было сознательная концептуализация ситуации. К тому же, автор интересуется, главным образом, *аффективным состоянием* аналитика и чувствами, которые в нем вызывает пациент, откуда и проистекает ее рекомендация присоединить к парящему вниманию нечто вроде свободной эмоциональной чувствительности, что идет *в* русле ее борьбы против образа идеализированного, бесстрашного, отстраненного и почти уже бесчувственного аналитика.

Эта работа, безусловно, сделала эпоху, многие аналитики последовали этим путем. Но феномен, о котором говорю я, — это нечто другое, чем вид «аффективного резонанса», который, оставляя в неопределенности специфическую сторону того, что происходит в психическом аппарате, не позволяет сколько-нибудь строгой Концептуализации. Другой аналитик продвинулся еще дальше в этом направлении, это — Анни Райх[1] которая замечает, что часто *инсайт* на материал возникает внезапно, как если бы он исходил из какой-либо области собственного психического аппарата аналитика[2].

Так же внезапно аналитик обнаруживает то, какой должна быть его интерпретация, и как следует ее сформулировать. Этот тип понимания, добавляет автор, испытывается, так сказать, пассивно: *он возникает, случается.* Напомню также дна замечания М. Неро, которые, по-моему, как нельзя лучше согласуются с моей темой: «В некотором смысле аналитику платят за то, чтобы он временно приостанавливал свое мышление и подчинялся

ассоциациям, которые исходят не от него». И далее, в параграфе, посвященном «Психозам переноса», он добавляет, что «массированный перенос» этих пациентов свидетельствует о «психическом захвате, о заключении терапевта в субъективное пространство психотической мысли. Это пространство… не обладает более понятием границ своей собственной внутренности… внутренние содержания, принадлежащие другим субъектам, а именно терапевту, кажутся включенными в то же пространство»[3].
Остается установить, являются ли эти расплывчатые границы исключительной характеристикой психотика, и закономерен ли и окончателен ли процесс утраты символического смысла внутренних механизмов, руководящих его субъективностью. Я далек от того, чтобы быть в этом уверенным, но такая точка зрения существует; я же считаю, что некоторые психосоматические пациенты более показательны в подобной несостоятельности образа действий. Наконец, есть множество пациентов, не являющихся ни психотическими, ни психосоматическими, и у которых можно наблюдать в некоторые моменты такое стирание границ внутреннего мира.

Как мы успели увидеть, многих аналитиков привлекают те области, где расположен феномен, который изучаю и я. Чтобы уточнить то, что я имею и виду, и сиять всякую двусмысленность относительно специфики вопроса, я хотел бы привести примеры фрагментов двух клинических случаев. Конечно, я не питаю иллюзий о восприятии подобных иллюстраций, вызывающих, как правило, десяток интерпретаций, и намного лучших, чем те, которые делаешь сам: последи им я как раз и отдаю должное в том, что они передают опыт, понимание значения которого и было глубоко почувствовано в тот момент.

Из материала, слишком большого, чтобы быть переданным во всей целостности, я выделяю только те элементы, которые непосредственно относятся к моей теме, и надеюсь, что нас не смутят иногда встречающиеся там нелепости. Разумеется, это нелепое не лишено значения, будучи подчиненным тем же архаичным механизмам, что каламбур и острота.

Молодая женщина, находящаяся в анализе около двух лет, выражает однажды опасение, что она не в состоянии заплатить мне гонорар в назначенный срок. Она боится этой возможной задержки и вспоминает аналогичный инцидент, произошедший достаточно давно. Ее речь прерывают долгие паузы, она с трудом формулирует мысли. Она обеспокоена тем, насколько у нее смешаны страх покинутости и нетерпимость к любой ситуации зависимости. Денежная задолженность мне представляет для нее как раз ситуацию зависимости, ретроспективно вызывающую в ней образ ужасающего отношения слияния. В этот момент мне приходит на ум мысль об удовольствии, которое она черпает из этой ситуации, что непосредственно связывается с моими размышлениями о проблемах, которые нам уже знакомы и достаточно проработаны. Ничего необычного в них нет, простая «психоаналитическая рутина». Л потом вдруг — разрыв, неожиданный перелом. У меня возникает ощущение, что я сошел с орбиты, что-то изменилось, я уже не тот, я это констатирую, в то время как мне не дает покоя отчетливая картинка, занимающая все мое воображение. У меня перед глазами — гравюра или, точнее, нижний левый угол гравюры, который как бы отделился. В этом углу я вижу женскую ногу, вытянутую под углом 45°

вниз, влево, и выступающую из зарослей. Нога — голая, видна только от икры. Но поражает больше всего то, что лодыжка и ступня — гиперразвиты. Этот образ мне ничего не напоминает, и впоследствии я напрасно пытался найти соответствующее ему происхождение. Но едва образ возник, как мне в голову приходит мысль: *Молодые люди находятся в более выгодном положении,* и на сей раз я тут же вмешиваюсь, говоря: *Вы думаете, что молодые люди находятся в более выгодном положении.* Фаллическое значение этой ноги, выходящей из завитков травы, кустов и деревьев, — очевидно, но здесь образ и фраза, совпадающие друг с другом, приходят раньше всякой расшифровки. Почти сразу же пациентка с ожесточенностью начинает ассоциировать, но поводу конфликтного аспекта своих отношений с матерью. Этот конфликт до сих пор преподносился в виде двойного страха, о чем я уже упоминал: о страхе абсолютного отвержения, покинутости и ужасе тотально подчиняющего слияния. На этот раз речь заходит о запретах матери, о ее губительном воспитании. Братьям было позволено все, они пользовались реальной свободой, тогда как она сама находилась под строгим надзором. Однажды ее сильно отругали, вменив в вину то, что она возвращалась из школы с товарищем, который держал ее под руку. С этого момента вышел наружу достаточно важный материал, затрагивающий фаллическую проблематику. Раньше же более архаичный конфликт постоянно занимал переднюю часть сцены и всецело обуславливал поведение анализируемой.
Теперь я перехожу к наблюдению, взятому из другого случая, также не лишенного своеобразия.

С самого начала сеанса пациентка напоминает мне сказанное непривычное для нее «До свидания, Месье», которое она произнесла, покидая меня в последнюю встречу. Это заставило ее вспомнить об одном инциденте раннего детства. Она уверена относительно периода, когда это произошло: ей должно было быть 2,5 года. Точные ориентиры,

о которых она не говорит, позволяют ей поместить событие в определенные рамки; «Ни раньше, ни позже», — заявляет она. История состоит в следующем: оказавшись па улице, она пошла, куда глаза глядят, чтобы очутиться (и очутилась), в конечном счете, в полицейском участке. Там ее ставят па стол, а полицейские, стоящие вокруг неее, задают ей вопросы. Как раз в этот момент и происходит тот же феномен перелома, который я описал раньше, и странная мысль приходит мне в *голову: Я бы с радостью съел тебя, прекрасный моряк.* Бесполезно говорить, что каким бы опытным я ни был, я продолжаю пребывать в состоянии растерянности. К моей растерянности прибавляется тот факт, что эта фраза сразу же отсылает меня к литературе. Речь идет о Билле Бадде, герое романа Мелвилла, который я не перечитывал вот уже пятнадцать лет. Мне кажется также, что существует связь между «Месье», которым она назвала меня, прощаясь, и выражением «Прекрасный моряк». На тот момент никакое спонтанное объяснение не озаряет эту странную ассоциацию, что не мешает мне чувствовать, что нужно это иметь в виду. Кстати говоря, только сегодня, когда я пишу эту статью, мне приходит на ум, что в англосаксонском морском флоте, например, было принято называть любого офицера «Месье». Далее пациентка продолжает рассказывать воспоминание детства. Находясь все еще в полицейском участке, она видит, что входит ее дядя Пьер. Она говорит, что испытала страшный стыд и настаивает на особой важности пережитого. Затем она

переходит к сновидению, которое она мне рассказывала и раньше и которое, по какой-то смутной причине, я желал услышать еще раз. Я выхватываю из сновидения только главный элемент: нечто вроде плиты, покрытой черной тканью, которая ей напоминает одновременно и надгробный камень, и стол. Однажды ее отец подарил ей стол с мраморной поверхностью. Она хочет избавиться как можно скорее от этого предмета мебели и заменить его на другой — «на стол для еды», который она будет выбирать сама, — говорит она. Потом она переходит к теме пищи, рассказывает о блюде местной кухни, которое внушает ей наибольшее отвращение, но настоятельно замечает, что она «была хороша, ладно сложена». В это же мгновение меня посещает своеобразная мысль, и я вмешиваюсь: «Говоря о хорошем сложении, вы имеете в виду «вкусной, пригодной к съедению?». Она озадачена, может даже немного обеспокоена, потом, становясь мечтательной, отвечает: «Да, это так. Я думаю сейчас о дяде Пьере, который внушал мне ужасный страх. Он мне говорил: «Я — лев, я тебя съем». Я была очарована, возбуждена, испугана». Что же касается меня, то только на следующий день я подумал, что понял смысл моей ассоциации с персонажем Мелвилла. Разгадка аналогии возникла благодаря тому, что в тот день шея пациентки была чрезмерно обнажена: действительно, Билли Бадд, по прозвищу Прекрасный Моряк, был повешен на огромной рее корабля и, говорит Мелвилл, встретил «грудью розовый свет зари», что и подсказывает тесную связь между надгробной плитой и казненным героем.

Разумеется, в этих обстоятельствах, как и во всех других, подобных им, я никогда не уходил от того, чтобы задаваться вопросами как о мыслях, которые приходят мне в голову, так и моих вмешательствах. И я считаю себя вправе сказать, что исследуемые репрезентации не зависели особым образом от моей внутренней жизни с ее желаниями и страхами, которые и определяют ее течение. Также они вовсе не являлись *индивидуальной* реакцией на перенос пациента. Конечно, я не был застрахован от подобных случайностей, я принимал их во внимание, и в первое время, как только этот феномен мне представился, я даже был склонен приписать его этим случайностям. Но ограничиваться только контрпереносными интерференциями и знаменитыми «слепыми пятнами», о которых говорит Фройд, в данном случае было бы слишком просто. Почему? Потому, что это значило бы пренебрегать тем, что есть действительно оригинального в данном феномене. Я имею в виду, с одной стороны, его удивительный полиморфизм, а с другой стороны, динамическую роль, которую придает ему его сила предвосхищения. Он, действительно, полиморфен до такой степени, что нужно иметь большую дерзость, чтобы считать себя вместилищем подобного множества образов и вербальных форм, рождающихся в избыточном количестве из всевозможных генетических слоев. По этому поводу замечу мимоходом, что в данном феномене особо задействуются прегенитальные представления, и это убеждает меня в мысли, что, на самом деле, лучшими показаниями к анализу являются, может быть, не всегда неврозы, а еще достаточно плохо изученные *пограничные состояния.*

Такой действительно поражающий протеизм и даже дерзость, о которой я только что говорил, не дают нам возможности отыскать то, что неоспоримо свидетельствовало бы о вмешательстве личной фантазматики. Но самое главное, на мой взгляд, заложено не в этом, а в почти пророческом характере этой настоятельно возникающей продукции, что подтверждалось неоднократно.

Как правило, пациент припоминает в рамках одного сеанса, но постфактум, сновидение или событие, более или менее давние, о которых он никогда не думал, или которые были вытеснены, и которые превосходно соотносятся с мыслью, возникшей у меня. Последняя имеет ту особенность, что *предвещает* и одновременно *формулирует* важные фрагменты бессознательного мира, анализируемого так, что ведет прямо к интервенции, наделенной реальным динамическим значением. Должен сказать, что мне бы и в голову не пришло так детально описывать этот феномен, если бы я постоянно не изумлялся предсказаниям, к которым он меня неизбежно приводил, и той решающей ролью, которую он тем самым играл в интерпретации.

К тому же все окончательно прояснилось только тогда, когда я понял, что во фразах, приходящих мне на ум, нужно было заменить говорящего: я думал о *себе,* тогда как занимал место пациента, а нужно было услышать *вы* или *он,* к чему я долгое время проявлял упорное сопротивление в психоаналитическом смысле слова. Кто говорил в действительности, когда мысли и образы циркулировали в моем уме, и которые я потом использовал в своей работе? Кто, как не пациент (поскольку в этом не было ни участия моей внутренней жизни, ни индивидуальной реакции на перенос)? Но тогда нужно сделать вывод, что на определенном уровне своего функционирования *психический аппарат аналитика в буквальном смысле стал таковым анализанта.* Последний «захватил» психический аппарат аналитика, он им временно завладел, чтобы запустить первичные психические процессы. Точнее, именно посредством своей репрезентации в психическом пространстве аналитика анализируемый «завладевает» на время и прочно духом аналитика. Конечно, анализант стремится таким образом быть понятым, но особенно он нуждается в том, чтобы то, что он воспринимает внутри себя, прежде всего, как экономическую потребность — или как недоступный фантазматический потенциал, — было переработано и обрело полную форму и обозначение благодаря работе психического аппарата, который он аннексировал. Аналитик как индивидуальность, наделенная страстями

и имеющая историю, отстраняется, чтобы уступить место только функциональным способностям, действующим, скорее, в русле фантазма, чем в рамках логической умственной деятельности, и которые он подпитывает своей собственной энергией.

Этой первичной психической деятельности аналитика, опережающей все другие, знакомые нам, следовало бы дать название. Чтобы противопоставить ее как функционированию состояния бодрствования, так и работе сновидения, и имея в виду хорошо известные исследования о снах, я назвал ее *парадоксальным мышлением.* Конечно, эта деятельность свойственна не только аналитику, но именно последний, в силу своей тренированности, особенно к ней расположен. Каково с количественной точки зрения значение *парадоксальных мыслей?* Постоянно ли они действуют? Парадоксальные мысли занимают ограниченное место. Они попыхивают в сознании аналитика мгновенно и далеки от того, чтобы проявляться на каждом сеансе с каждым пациентом. Но хотя они являются поодиночке и как бы вне всякого контекста, мне представляется трудным утверждать их реальную прерывность. Фактически, я могу констатировать, что некоторые из этих *парадоксальных мыслей* гомогенны и связаны между собой; также я склоняюсь к мысли, что они наверняка являются видимой частью гораздо более широкого феномена, развертывающегося незаметно, в стороне от других психических процессов и

обладающего непрерывностью. Именно это я назвал *парадоксальной системой,* системой, конечно, труднодоступной, но которая нам иногда дается в предчувствии. Мы угадываем как бы через завесу поток пульсирующих образов, постоянно меняющихся фигур, проходящих, исчезающих и возвращающихся[1].

Учитывая, что обрывки нелепых или непонятных фраз иногда проникают в вереницу репрезентаций, мы бы с удовольствием ассигновали *парадоксальной системе* промежуточную позицию на границе бессознательного и предсознательного.

Определяя данным образом *парадоксальную систему, я* вызову наверняка озадаченность и множество нареканий. Сравнимы ли описанные феномены с артефактами, искажающими развитие эксперимента и наблюдение за ним, и как таковые должны ли они быть изъяты из поля рефлексии и рассматриваться в целом как пустяк? Может быть, так и следовало бы сделать, но в нашей области разумное, как известно, не всегда самое здравое.

Конечно, мы уже задали себе вопрос, какую роль в парадоксальной системе могут играть проекция и интроекция, или точнее, механизмы проективной идентификации и особенно интроективной идентификации? Вмешательство этих механизмов в контрперенос было широко освещено. Так, М. Неро признает без колебаний, что контрперенос — как и перенос — зависит в некотором отношении от ведущей мысли, частично идентифицируемой с проекцией бессознательного. Отсюда можно заключить, что я выдвигаю, в некотором смысле, параноидную концепцию деятельности аналитика — один лишь шаг до этого. Но я его не делаю, убедившись на опыте, что присвоение и захват психического аппарата аналитика не соответствуют, ни в коей мере, деструктивным намерениям. Для анализируемого речь не идет ни о том, чтобы разрушить аналитика, ни о том, чтобы строго его контролировать или же вложить в него расщепленные и плохие фрагменты самости. Предметом исследования, скорее, является, на мой взгляд, судьба нарциссического либидо двух протагонистов перед лицом друг друга. Если бы аналитик ощущал эту ситуацию как преследующую, это было бы доказательством контрпереносной реакции в банальном и негативном смысле слова. Из сказанного можно заключить, что эти *парадоксальные мысли* имеют для нас что-то мешающее и стесняющее.

Как аналитик, наряду с сознательными и бессознательными процессами, происходящими внутри него, мог бы признать существование другого регистра психической деятельности, субъектом которого он, собственно говоря, не является? Он ощущает, идентифицирует, ассоциирует, понимает, передает — это основа его техники; он принимает как само собой разумеющееся знаменитое общение бессознательного с бессознательным, но, естественно, не желает уступить место чему-то неопределенному, неосвоенному, не подчиняющемуся, что в нем является совершенно инородным. Таким образом, настороженность, которую внушает *парадоксальная система,* по-видимому, выражается, прежде всего, через угрозу, которой она воздействует на стабильность нашего чувства идентичности. Когда наш нарциссизм оказывается пошатнувшимся, мы можем считать себя подвергающимися атаке и защищаемся крайне ожесточенно, обвиняя в подобном результате любую личностную проблематику, будто она и впрямь ответственна за какую-либо техническую ошибку. По этому поводу принято считать, что строгие правила классической техники имеют вторичной функцией защиту аналитика от этой нестабильности. С другой стороны, тенденция к засыпанию, посредством чего аналитик иногда осуществляет нарциссическое отступление, является как бы другим способом защиты — существующая в таком крайнем варианте, она рискует превзойти свою цель, так как, тормозя функциональные

способности аналитика, дремота парализует свободную игру *парадоксальной системы,* которой как раз и следовало бы поддаться. К великому счастью, не так легко ускользнуть от игры: колоссальная мощь, которой располагает представление об объекте (чем крепче оно инсталлировано в своем обитателе, тем сильнее удерживает часть нарциссического либидо последнего), мешает тому, чтобы анализируемый мог реально удерживаться на дистанции.

Исследуя различные виды сопротивлений, которые обычно противопоставляются *парадоксальной системе,* я пришел к убеждению, что они существуют только потому, что сама система зависит, с одной стороны, от очень архаичного опыта, соответствующего становлению субъекта и, с другой стороны, от простейшего механизма, глубоко укоренившегося в нашем существе и неотделимого от нашей плоти. Рассматриваемая под углом этого первичного механизма *парадоксальная система* ведет нас прямо в пространство биологии — пространство, куда мы, конечно, не решаемся выйти, хотя Фройд нам ясно указал туда дорогу.

Нам известно, что Ф. Жакоб и Р. Фов со своей командой в Институте им. Пастера выявили важное обстоятельство, заставляющее задуматься[1].

Авторы устанавливают сходство между двумя отдельными случаями, в которых иммунные защиты, бдительные в одних случаях по отношению к любому Постороннему вмешательству, одинаково перестают функционировать в других, Речь идет, с одной стороны, о толерантности организма по отношению к злокачественным клеткам и, с другой – о той же самой толерантности материнского организма по отношению к зародышу, развитие которого только таким образом и становится возможным. Другими словами, раковые клетки, так же, как и клетки плаценты эмбриона, обрекают на разрушение защитную систему организма, в котором они будут развиваться. Следовательно, со времени зарождения жизни существует особая функция, которой свойственно тормозить запуск иммунной защиты, так как, если бы последняя выступала нормальным образом, она мешала бы росту инородного тела, каковым является зародыш, как это и происходит, может быть, при выкидышах[1].

Но также необходимо, чтобы эта функция смогла в свою очередь быть заторможенной в дальнейшем, чтобы субъект был в состоянии *признать инородное тело как таковое и защититься.* Исходя из этой биологической модели, мне кажется возможным предположить, что репрезентация анализанта ведет себя в психическом пространстве аналитика по образцу трофобласта, то есть она не дает возможности аналитику признавать постоянно его полную инаковость. Если бы это было так, то мы бы лучше понимали ситуации, в которых больше неизвестно — кто есть где, и кто есть кто. Развитие *парадоксальной системы* должно было бы зависеть отчасти, по крайней мере, от временного или частичного торможения функций, которые позволяют признать другого и защититься. Торможение — о котором я сказал бы, что оно, к счастью, противостоит запуску одной из самых токсичных и, может быть, фундаментальных форм контрпереноса: потребности уничтожить и отвергнуть анализируемого.

Такие рассуждения могут показаться несколько рискованными, но нам, аналитикам, не занимать смелости, когда мы, например, соединяем самые архаические механизмы ребенка с физиологическими моделями инкорпорации прекрасного и отвержения дурного;

или же когда мы показываем, как действуют эти механизмы в фантазмах, поддающихся выражению. Напомню еще и о психосоматической практике, которая, подвергая нас контакту со смутными истоками фантазматической деятельности, постоянно доказывает нам, насколько хрупки и зыбки границы между субъектом и объектом, между психическим и физическим. На этой ничьей земле (no man's Land) власть поделена, и часто происходят органические изменения, которые появляются и эволюционируют как бы в ответ на самые разнообразные, и порой ничтожные, модификации, появляющиеся в другом и ощущаемые пациентом как изменения, которым он подвержен сам. Это, на мой взгляд, является моделью отыгрывания. И потом, ничто не мешает думать, что существует глубинная структурная гомогенность между самыми простыми механизмами и механизмами, находящимися среди самых продвинутых.

Но есть и другие аргументы в защиту *парадоксальной системы,* к которым аналитик должен быть, по-видимому, более чувствителен. Я уже упоминал о родстве *парадоксальной системы* и деперсонализации или, точнее, о зависимости *парадоксальной системы* по отношению к особой судьбе нарциссического либидо, которая предполагает относительную неопределенность чувства идентичности. Под чувством идентичности я понимаю, следуя за Гринекер, единичность, пережитую интегрированным организмом, который признает другого без амбивалентности[1].
В предыдущей работе о «Внешнем и внутреннем» я уже изложил эти взгляды, исходя из исследования фантазма: «Если бы я умер»[2].
Я утверждал тогда, что сильно инвестированные объекты не могут обрести ни реальной инаковости, ни статуса полностью независимого субъекта. Так же и Я, частью потерянное в репрезентациях своих объектов любви, тоже никогда не достигает полностью определенной и неоспоримой идентичности. Я утверждал, что нет настоящей границы между Я и не-Я, *а* есть переходная неопределенная зона, *спектр идентичности,* определяемый различными позициями, которые может занимать нарциссическое либидо от внутреннего полюса до внешнего, совпадающего с образом другого. С таким же успехом эти выводы можно было бы сделать, изучая аналитическую ситуацию, подходящую для этого как нельзя лучше. В самом деле, аналитик всегда вкладывает ту или иную часть своего нарциссического либидо в представление о своем пациенте, и этот процесс, если он развертывается, устанавливает благоприятные условия и для парящего внимания, и для появления *парадоксальной системы.* В соответствии с утечкой своего нарциссического либидо аналитик замечает, что образ его собственной идентичности искажается, становясь неясным и неопределенным. Теоретически это движение могло бы привести к настоящему перемещению одного в другого, что вовсе не рискует оказаться таковым на практике, поскольку нарциссическое либидо никогда не прекращает циркулировать и колебаться между своими крайними полюсами. Если предположить, что мы хотим описать некоторые черты, характеризующие личность аналитика, нужно было бы отметить (помимо особой расположенности к первичной идентификации, сравнимой с идентификацией психотика и перверта) соединение фантазма о материнстве и склонности к деперсонализации.
По поводу неопределенности, поражающей чувство идентичности, напомню, что, по моему мнению, оно зависит также от раннего опыта, прямое влияние которого настойчиво дает о себе знать. Такой опыт выявляет поразительный факт, устанавливающий одно из

мест внедрения *парадоксальной системы* и решающий момент развития, по крайней мере, для некоторых индивидов.
Одна пациентка мне сообщает, что, когда ей было примерно 2,5 года, она оказалась со своей матерью перед шкафом с зеркалом, где они отражались, стоя рядом друг с другом. Впервые девочка видит одновременно два образа. Она испытывает два состояния, хотя и разделенные некоторым сроком, но крепко связанные между собой, Опыт амбивалентен, во всяком случае, далек от того, чтобы быть радостным или торжествующим; в первое время, однако, он несет в себе позитивный элемент, то есть, позволяет совершить колоссальный психический скачок. Девочка заключает из этого видения, что мать не знает ее мыслей, и это ей позволяет даже ругаться про себя, В дальнейшем, переносясь мысленно к общению двух образов, она оказывается во власти глубокого отчаяния. Совершенно обезумевшая она бросается на свою мать и, обращаясь к ней, яростно кричит: «Мама, почему я — это я, скажи мне, почему я есть я!». Замешательство матери можно понять: раздраженная настойчивостью ребенка, она сначала уклоняется от ответа, а затем грубо ее выпроваживает. Пациентка вспоминает, что тогда она бросилась на пол, вне себя от гнева; ее старшая сестра якобы присутствовала при этой сцене и рассказала ей об этом.

Вероятно, все уже вспомнили о стадии зеркала Лакана, поскольку там также речь идет об отношении идентичности и зеркального образа. На самом же деле опыт, описанный моей пациенткой, — это нечто совсем другое: он немного запоздалый — ей было 2,5 года — и окрашен другой аффективной тональностью. Здесь ребенок уже не погружен в состояние беспомощности и двигательной нескоординированности, характеризующее младенца. У него уже есть некоторое представление о своем телесном единстве, и он относительно владеет собой в этом плане. Перед новым шагом, ведущим его к более четкому установлению границ своего Я, он, тем не менее, останавливается в растерянности, так как предчувствует, что цена, которую он должен заплатить, — это «перелом» его либидо. Хотя Я начинает выражать протест, все существо противится необходимости отречься от самого себя, отвести своему нарциссическому либидо определенное место и очертить его границы. Оно яростно протестует против таких ограничений, несущих двойной траур: по прошлому грандиозному Я и по нарциссическому объекту — матери первого времени. И так как ребенок впервые и серьезно переживает раскол и растерянность в связи с необходимостью становления, он борется и удерживает тем самым внутри себя воспоминание о времени равновесия и отрегулированности. Слишком тяжелый, чтобы быть принятым, такой опыт ведет его к отказу или, по крайней мере, к отсрочке победы, которую он ощущает как обедняющую и даже как поражение. Но, несмотря ни на что, он уже приблизился к реальности. А поскольку реальность утверждает, что объект — это другой, не потому ли этот другой его «съест», что он боится потерять часть себя самого, которая в нем заключена. Вполне логично было бы думать, что основа представления об объекте уже создана и призвана развиваться в пространстве субъекта вот таким образом, и что опыт оставил функциональный субстрат, состоящий для нарциссического либидо в возможности постоянно перемещаться между представлением субъекта о себе самом и таковым о своих объектах любви; а для Я опыт заключается в невозможности когда-либо удостовериться в непоколебимости идентичности.
Остается лишь взглянуть на проблему с точки зрения функций *парадоксальной системы.* Вытекающие отсюда мысли, как мы видим, открывают новый доступ к

латентному материалу, а интерпретации, будучи немного своеобразными, не настолько тотально чужды классической манере видения. Затем исключением, что *парадоксальная система* относится в большей степени к фантазматическому потенциалу пациента, который либо в силу отдельных вмешательств экономического фактора, либо в силу роли первичного вытеснения не в состоянии развиваться полноценно, по крайней мере, на данный момент. Это положение сохраняется не только за некоторым типом пациентов; такое может произойти с кем угодно, в том смысле, что человек может быть поражен этим в той или иной степени. Интерпретации, соотносящиеся с *парадоксальными мыслями,* придают вербальную форму исключенным репрезентациям, которые другим способом не могли бы получить никакой предсознательной инвестиции, даже ценой грубых искажений. Эффективность этих интерпретаций зависит, в частности, от того, что сформулированные другим, кто также представляет собой и грандиозное Я, они расшатывают застывший экономический статус, вначале оттого что попадают в точку касательно момента и содержания, а затем, оттого что часто являются результатом смещений и сгущений. Часть обычно связанной энергии обретает и высших сферах мгновенную способность свободной циркуляции и становится готовой для инвестиции продукции бессознательного, подвергшейся отстранению. Такая мобилизация, происходящая, вероятно, на стыке предметных репрезентаций со словесными репрезентациями, продолжает высвобождать некоторое количество страха.

Помимо очень своеобразного влияния *парадоксальной системы* на интерпретацию нужно также упомянуть об одном из ее самых замечательных воздействий на положение пациента. Я всегда с большим интересом отмечал то, что иногда говорят нам пациенты: «Вы не здесь», или же: «Я не чувствую вас больше, где вы?» Им случается даже думать, что аналитик просто-напросто умер в своем кресле, сзади. Замечания такого порядка не обязательно выражают агрессивность анализируемого; не всегда их также можно отнести к рассеянности и к уклончивости аналитика. Доказательство этому то, что они возникают именно тогда, когда аналитик захвачен *парадоксальными мыслями,* которые как раз в самой высшей степени касаются самого пациента. Таким образом, хотя именно в этот самый момент аналитик занят пациентом, *пациент искренне переживает мгновение траура,* что выявляет другую функцию *парадоксальной системы.* Сомнения, касающиеся существования аналитика, мобилизуют в анализируемом сильный аппетит отношений; влечения, сохранив что-то от их былого статуса экстерриториальности, мощно мобилизуются, чтобы достичь удовлетворения, а, главное, для того чтобы быть покоренными и органично ассимилированными, иначе говоря, интроецированными в ференцианском смысле слова. Здесь я приближаюсь, как ранее, анализируя фантазм «Если бы я умер», к точке зрения Н. Абрахама[1] и М. Торок[2].

В момент, когда парадоксальное функционирование запускается, анализируемый может иметь чувство, что он теряет часть своих инстинктов, потому что другой увлекает его за собой, исчезая. Но как только аналитик возвращает наибольшую часть ускользнувшего нарциссического либидо пациента, как только он восстанавливает цену объекта и озвучивает желание, то то, что было угрозой, становится шансом для анализанта, чтобы овладеть какими-то влечениями, задействованными в ситуации траура, органично присоединить их к своему существу и обогатиться в смысле наивысшей аутентичности. Вероятно, это и побудило меня с удовольствием думать, что человек создается благодаря непрерывной череде фантазматических испытаний посредством траура.

Утверждают, что Я строится на основании последовательных идентификаций, Может быть, это относится к узко инструментальным функциям. Но я себя иногда спрашиваю, не таким же ли образом оно и фальсифицируется, так как самое настоящее Я не может быть нигде, кроме как в продукции инстинкта, то есть в самом, что ни на есть, сущностном, и как самое бессознательное наиболее недоступном сознанию.